

ВРЕМЯ и МЫ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ЖУРНАЛ
ЛИТЕРАТУРЫ
И ОБЩЕСТВЕННЫХ
ПРОБЛЕМ

Восьмой год издания

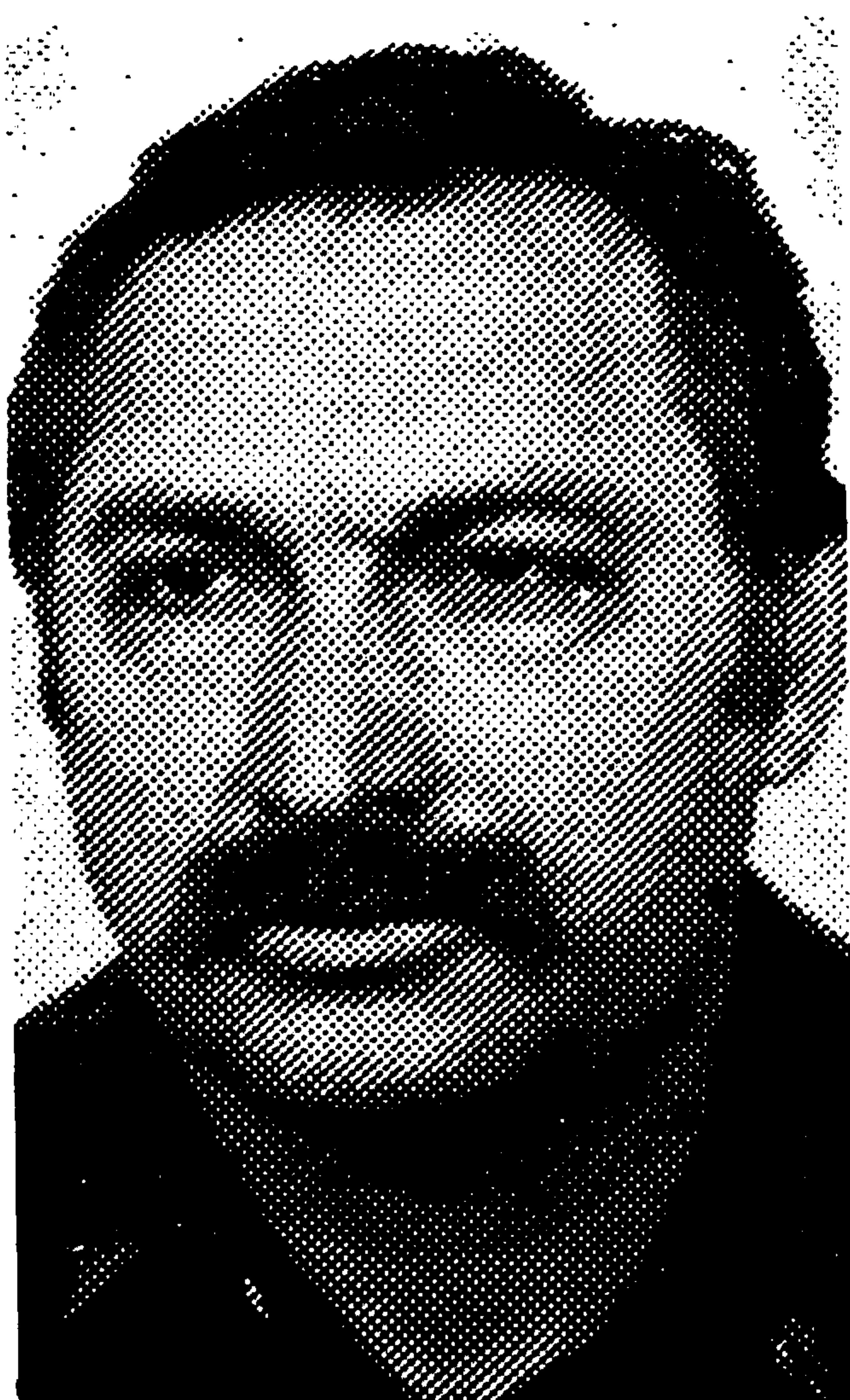
Выходит один раз
в два месяца

68
1982

СЕНТЯБРЬ–ОКТЯБРЬ

НЬЮ-ЙОРК–ИЕРУСАЛИМ–ПАРИЖ

ИЗДАТЕЛЬСТВО "ВРЕМЯ И МЫ" –1982



Хлестаков. Литераторов часто вижу. С Пушкиным на дружеской ноге. Бывало часто говорю ему: "Ну что, брат Пушкин?" — "Да так, брат, — отвечает бывало, — так как-то все...". Большой оригинал.

Н.В.Гоголь. "Ревизор"

Фридрих ГОРЕНШТЕЙН

ТРИ ВСТРЕЧИ С ЛЕРМОНТОВЫМ

*Из воспоминаний Б-а, отставного штаб-ротмистра
лейб-гвардии кирасирского полка*

Впервые я встретил М.Ю.Лермонтова, делая соло в пятой фигуре французской кадрили в танцклассе школы гвардейских юнкеров и гвардейских подпрапорщиков.

Должен попутно заметить совершенно без предвзятой цели, что юноша я был весьма развитой во всем, кроме арифметики и вследствие своего громадного черноземного аппетита за казенные превкусные булки переписывал чрезвычайно быстро и четко юнкерам кирасирского отделения "Войнаровского" и "Думы" Рылеева, из коих некоторые запомнил наизусть. Так что первая моя встреча с М.Ю.Лермонтовым могла бы объясниться сама собой, если б не произошло в танцклассе.

Лермонтов вместе с еще четырьмя своими товарищами по отделению легкой кавалерии составляли по вечерам так называемый ими "Нумидийский эскадрон", в котором, плотно

взявшись друг друга за руки, скользили по паркету, сбивая с ног попадавших им навстречу новичков. Ничего об этом не знаяши, я был сбит с ног плечом Михаила Юрьевича к величайшему прискорбию танцевального нашего учителя Эбергарта, у которого я был на первом плане как ловкий танцор и прежний его ученик в Горном кадетском корпусе с 1828 по 1830 год и откуда по мнительности покойного отца был взят.

Отец мой, Василий Дмитриевич родился 24 апреля 1780 года, умер 1 июня 1832 года. Погребен в селе Павловском, Лебедянского уезда Тамбовской губернии. Там же погребена и жена его Софья Петровна, родившаяся 6 сентября 1787 года и умершая 8 марта 1827 года. У отца было пять сыновей и две дочери: Лукьян, Дмитрий, женатый на Марии Петровне Григорьевой, Павел, Василий (то есть я, автор настоящих воспоминаний), Владимир, Софья (замужем за Дробышевым) и Екатерина (замужем за Емельяновым). Отец мой умер от водяной болезни и неумелости врача, за несколько дней до смерти взял с меня честное слово посвятить себя врачебному искусству и быть другом человечества. Я с восторгом дал ему это слово и живо помню, что сцена была в биллиардной комнате, увешанной портретами героев 12-го года. Но с детства я слишком возбуждал свое воображение несовременным чтением, а с четырнадцати до шестнадцати лет постоянно поглощал современные французские романы, которые постоянно приносил по поручению старших братьев из библиотеки Готье. Они-то и вышибли из памяти данное отцу обещание, и в сентябре 1834 года я надел кирасирскую куртку...

Однако возвращусь к первой моей встрече с М.Ю.Лермонтовым. Будучи сбит М.Ю.Лермонтовым с ног и не предполагая, естественно, что впоследствии он станет гордостью России, я хотел ударить Михаила Юрьевича кулаком в спину, но "Нумидийский эскадрон" тотчас рассыпался по своим местам, и мы в две шеренги пошли ужинать. За ужином был, между прочим, вареный картофель, и, когда мы, возвращаясь в камеры, проходили неосвещенную небольшую конференц-залу, то я получил в затылок залп вареного картофеля и, не говоря ни слова, разделся и лег на свое место. Этот мой

стоицизм, пропитанный духом энциклопедистов в силу домашнего образования под руководством швейцарца-гувернера, видно достиг цели, и едва я заснул, как Михаил Юрьевич, очевидно, подобным пренебрежением оскорбленный, вставил мне в нос "гусара", то есть свернутую бумажку, намоченную и усыпанную крепким нюхательным табаком, отчего нос мой пришел в страшное расстройство и чихание мое разбудило весь эскадрон...

Такова моя первая встреча с Лермонтовым. Впрочем, уроки, преподанные мне великим поэтом, не прошли даром. В течение двухлетнего пребывания в школе, я более двадцати раз сидел под арестом за разные нарушения дисциплины и разные шалости.

Первого января 1837 года я надел офицерский мундир и поступил в кирасирский, его Величества полк в Царское Село. В полку я пробыл до апреля, откуда за шалость, которая в послужном списке несправедливо названа "нетрезвым поведением и буйством на улице", итак, за шалость я был присужден к вычету трехмесячного жалования и переводу в Кавказский линейный батальон во Владикавказе.

Однажды базарный — так называется унтер-офицер, приставленный к дому, взятому для офицеров и приезжих, — однажды базарный пришел мне сказать, что какой-то приезжий офицер желает меня видеть. Я пошел в заезжий дом, где застал такую картину: М.Ю.Лермонтов в военном сюртуке и какой-то статский сидели за столом и рисовали, во все горло распевая французскую песенку. Когда я вошел, они даже не посмотрели в мою сторону, не предложили мне сесть, а продолжали петь и рисовать. Это меня озадачило, но еще более озадачило, когда Лермонтов, продолжая рисовать, как бы с участием, но не без высокомерия стал расспрашивать меня, как я поживаю, хорошо ли мне. "Да вам-то что за дело, по какому праву вы говорите со мной покровительственным тоном?" — хотел я ответить оскорбленно, но, вспомнив о своем стоицизме, ответил, что живется мне недурно, и спросил, что они рисуют. "Дарьяльское ущелье, которое в сорока верстах отсюда, — сказал Лермонтов. — А это мой друг, фран-

цуз-путешественник, который нахodu вылез из перекладной телеги и делал зарисовки окрестных гор". На этом разговор наш кончился, обо мне словно бы забыли. Я постоял несколько минут и вышел в расстройстве и обиде.

В третий раз я встретился с Лермонтовым уже в Москве, в 1840 году. Выйдя в отставку и продав 315 десятин тульской земли за 35 тысяч ассигнациями, я, расплатившись с карточными и другими кавказскими долгами, проживал в Москве, почти ежедневно посещая Английский клуб, где играл в лото по 50 рублей ассигнациями ставку и почти постоянно выигрывал. Сочинял я тогда оперу. В меня словно театральный демон вселился, вся жизнь моя приносилась в жертву или ему или женщинам. Среди восторгов воспламененного воображения сочинял я оперу, которую, читая спустя несколько лет, никак не мог понять, откуда такой бред вселился в мою голову. Я был в сильном жару, когда писал ее. Впрочем, всю ту осень по Москве свирепствовала какая-то эпидемическая простуда, называемая *grippe*. Кашель слышен был на балах, на театрах, в огромных торжественных залах, в судах, полках и храмах. Всякий почти кашлял, доктора наживались, а больные выздоравливали посредством одной благотельной натуры, которая знала лучше Гиппократов причину порчи и умела помочь ей своими средствами. В данную осень потревожила меня смерть моего дядьки Степана. Этот человек был куплен для меня еще моим покойным отцом. Многие скажут: велика беда, что дядька умер. Они у всех кончатся прежде воспитанников своих. Так, конечно, но разве это не обязывает тех, кто ими были довольны, к какой-то к ним признательности...

И в ту же больную осень я встретил М.Ю.Лермонтова в Английском клубе в компании князя А.Б., барона Д.Р. и графа М. Не помню, не то М.Ю.Лермонтов возвращался с Кавказа, то ли вновь был туда переведен. Мы друг другу не сказали ни слова, но устремленного на меня презрительного взора Михаила Юрьевича, я до сих пор не могу забыть. Презрительный взор Лермонтова, брошенный им на меня при последней нашей встрече, имел немалое влияние на мою жизнь,

жизнь эпикурейца на фоне существовавшего тогда крепостного права.

Теперь, то есть в 1885 году мне 68 лет, я живу почти в совершенном уединении в деревне Лысково Нижегородской губернии. Из двадцати четырех часов вычитаю только пять на сон, больше старикам спать не полагается, и пишу, и рву, и думаю, и снова пишу.

Недавно, а именно 25-го числа июня мне пришлось пережить весь ужас представления света, ибо такой сильный был гром, что я на самый тонкий волосок отстоял от смерти, да и от какой же несносной. Что может быть ужасней быть убитым громом, хоть смерть всяческая неприятна, но все-таки породичней кажется умереть лежа в постели, чем сгореть от молнии. Едва сего не случилось со мной. Из самой сильной тучи, почти горизонтально над домом висевшей, ударов побольше шести грянуло на расстоянии десяти верст около нас, загорелось от электрической силы стесненной атмосферы, и у меня остановилось дыхание в ту самую минуту, когда я подносили ко рту рюмку венгерского.

А на следующий день погода была ясная, облака тонкие и тихие в своем движении, голубизна краски свои давала эфирному своду. Я поглядел на красоту небесного эфира и подумал, что Михаил Юрьевич Лермонтов уже сорок четыре года зарыт на Пятигорском кладбище, убитый Николаем Мартыновым, нашим общим знакомым в такую же грозу, которая бушевала вчера, все поджигая и испепеляя, и душа Михаила Юрьевича не случайно ушла к небу не в тиши, а среди этого огненного возмущения природы.

Трижды я встречался с Михаилом Юрьевичем Лермонтовым. В первый раз он меня побил, во второй раз он надо мной посмеялся, в третий раз он на меня презрительно посмотрел. Но странно, теперь, когда я старик, эти лермонтовские затрещины, эти лермонтовские насмешки и это лермонтовское презрение кажутся мне единственным ценным, что было в моей жизни. О, как я был рассеян и неумен, как мало я заботился о своем будущем и до моей близкой уже могилы и после нее. У меня было гораздо больше поводов драться на дуэли с Лер-

монтовым за оскорблении, которые он мне нанес, чем у Мартынова. Отчего же, отчего я не воспользовался этим своим правом прежде, чем им воспользовался Мартынов. Я знаю, что никогда бы не застрелил Лермонтова, хоть стрелок не-плохой и имею награды, а если б Лермонтов застрелил меня, его дуэль с Мартыновым могла бы и не состояться, даже наверняка бы не состоялась. Но имя мое навсегда бы прилегло у ног лермонтовского имени, как ласковая собака у ног доброго хозяина... Ах, как я понимаю Хлестакова в его воображаемом разговоре с Пушкиным... Как мало в этом разговоре обмана. Как много в этом разговоре лиризма и мечты...

Зачем цену утраты на земле
Мы познаем, когда уж в вечной мгле
Сокровище потонет и никак
Нельзя разгнать его покрывший мрак?

КОНТРЭВОЛЮЦИОНЕР

Научно-фантастический рассказ

Профессору позвонили из одного научного ведомства и попросили его рассмотреть проект изобретателя-любителя.

— Что-нибудь глобальное? — спросил профессор. — Вечный двигатель, осушение океанов?..

— Не совсем, — помолчав, неуверенно ответил сотрудник, — но известный оттенок глобальности, конечно, имеется... Однако, поверьте, — торопливо добавил сотрудник, — целый ряд расчетов сделан со вкусом и даже изящно...

— А как в смысле наглости? — спросил профессор.

— Отсутствует, — сказал сотрудник, но голос его звучал не совсем уверенно.

— Почему звоните именно мне? — уже раздраженно спро-

сил профессор. Ваше ведомство не по моему профилю... И к тому ж я занят...

Профессор утром съел яичницу с ветчиной, которую любил, но которую ему запрещали врачи и теперь досадовал на себя, ожидая с минуты на минуту болей в печени и чутко реагируя даже на самые незначительные отклонения в своем организме, будь то легкий зуд либо робкое покалывание.

— Этот изобретатель ходит ко мне уже полгода, — сказал сотрудник, — я уезжаю в длительную командировку, вместо меня будет другой сотрудник... Говоря откровенно, я звоню вам, уповая главным образом на ваши чисто человеческие качества... Автору проекта надо помочь... Попытаться убедить. Он в ужасном состоянии. Он озлоблен...

— Понятно, — помолчав, сказал профессор, поддавшись на грубую и неталантливую лесть, что с ним иногда случалось, — понятно, уговорили...

— Вот и хорошо, — сразу повеселевшим, даже каким-то певучим голосом сказал сотрудник, — значит, с вашего позволения проект с сопроводительной бумагой мы пришлем сегодня во второй половине... Как только освободится курьер, мы пришлем...

— Не надо, — сказал профессор, — никаких бумаг с курьером не прсылайте... Дайте просто автору мой служебный телефон... Мы с ним сами договоримся...

— Хорошо, — сказал сотрудник.

Автор проекта позвонил к концу рабочего дня, и в голосе его чувствовалось отсутствие уважения к авторитетам. Разговор был четким и предельно деловым.

— У вас есть еще один экземпляр проекта? — спросил профессор.

— Разумеется, — ответил автор.

— Возьмете с собой... Мы встретимся сегодня, на улице у технической библиотеки.

— Но мы незнакомы, — сказал автор.

— Мои портреты иногда помещают в печати, — сказал профессор, несколько уязвленный и потому временно потерявший чувство юмора.

Надо было отказаться от встречи с мелким наглецом, но профессора уже мучил полемический задор, который в его возрасте являлся недостатком.

— Хорошо, — сказал профессор, взяв себя в руки. — Я сам вас узнаю...

Он отпустил машину за несколько кварталов до технической библиотеки и далее пошел пешком.

Была поздняя весна, на бульварах властвовала сирень, профессор же часто, особенно в теплые, урожайные на сирень весны, терял способность к научному осмыслению действительности и не всегда с правильных позиций воспринимал мир. Это был его тайный порок, тайный потому, что он умел его подавлять и преодолевать, но пороком этим он очень мучился и потому старался в это время года идти в отпуск. В этот же раз отпуск его задержался из-за срочной изнурительной работы, ныне приближающейся к благополучному концу. Весной профессор всегда боялся совершить какой-либо безрассудный поступок, причем с годами страх перед этим своим несовершенным поступком еще более усиливается...

На широких лестницах технической библиотеки было довольно людно и лишь после тщательного осмотра профессор угадал автора проекта. Это был тщедушный молодой человек с неразвитой детской грудью, очень неряшливо одетый и бледный от недостатка жизненных соков. Наполненно и страстно жили лишь его глаза, черные горячие глаза лжепророка, которыми он и выделялся.

— Здравствуйте, — сказал профессор и взял в свою мясистую ладонь твердую ладошку автора проекта.

С торца здания есть скверик, — деловито сказал автор, — если вас устраивает...

— Да, конечно, — сказал профессор.

Они уселись на скамейку под кустами белой сирени.

— Итак, ваша специальность? — спросил профессор.

— Биокибернетик, — ответил автор, — я учился на физмате пединститута, но не окончил, самостоятельно увлекся биокибернетикой.

— Понятно, — сказал профессор. — Теперь в двух словах суть.

— Борьба с неправильно развивающейся эволюцией человеческого подвида... Я изобрел биокибернетическую третью ногу...

Профессору стало скучно. Он ожидал большего своеобразия от этого истощенного человека, очевидно отказывающего себе во всех радостях жизни. Бог весть как угадал автор перемену настроения собеседника, но угадал он мгновенно и вскочил, засмеявшись коротко с сарказмом, показывая на профессора пальцем. Проще всего можно было заподозрить в авторе проекта сумасшедшего, это в конце концов напрашивалось, но профессор не позволил себе сразу же стать на подобный элементарный путь. Будучи чрезмерным полемистом, профессор решил пересилить себя и главным образом слушать.

— Человечество, — говорил автор проекта, — в исторически ничтожный срок слишком резко изменило положение своего тела относительно горизонта... Прародителем человечества было сумчатое животное, опиравшееся на четыре конечности... Предком человечества была обезьяна, внутренние органы которой хоть и принимали некий меняющийся угол относительно горизонта, но во всяком случае не располагались перпендикулярно и постоянно к горизонту... Освободив передние конечности человечество завоевало планету... Но это пиррова победа... Расположив сердце, полушария головного мозга, кровеносные сосуды и т.д. вертикально, то есть перпендикулярно горизонту, человечество насилием направило свое эволюционное развитие по чужому подлинному естеству руслу... Помимо болезней и преждевременного изнашивания органов, человечество расплачивается утратой великих ощущений природы, которые составляют главное счастье в существовании не только млекопитающих, но даже червей и улиток... Я глубоко убежден, что любовь червей, кстати, описанная Дарвином, я убежден, что любовь червей достигает такой силы, которую человек и не может себе мыслить... И все это благодаря правильному расположению внутренних органов относительно магнитного поля Земли...

— Что вы предлагаете? — почему-то с легкой хрипотцой спросил профессор.

— Нужна третья точка опоры... Я не говорю, что человек должен стать опять четырехногим, он утратил бы ряд преимуществ, завоеванных ценой тяжелых жертв... Но он должен перестать быть и двуногим... Современная биокибернетика способна уже сейчас создать третью точку опоры и рассчитать оптимально выгодный угол наклона человеческого тела к горизонту... Необходим толчок и контрэволюционный процесс пойдет сам собой, выведя человечество из многочисленных тупиков, куда оно было завлечено ложной цивилизацией. Но у всякого великого дела самым могущественным врагом являются мелкие бытовые привычки...

— То есть консервативная привязанность человека к своему современному облику? — спросил профессор.

— Да, — с искренней страстью воскликнул автор. — Наступят счастливые времена, когда двуногие существа будут считаться уродами, а поэты будут воспевать трехногих девушек... Но во имя счастья нужно справедливое насилие...

Автор проекта был предельно честен, это чувствовалось, и говорил с глубокой верой во взятую на себя бескорыстную миссию. Он абсолютно лишен был даже тени цинизма или карьеризма. И профессор понял, что перед ним злейший враг человечества.

— Да, — говорил автор проекта, — угол наклона к горизонту полностью изменит мироощущение, а следовательно, изменится и мировоззрение... Изменятся связи между людьми, изменятся их привычки...

— Иными словами, человечество в нынешнем его понимании исчезнет? — спросил профессор.

— И очень хорошо, — улыбнулся автор проекта. — Я всегда считал человечество, перпендикулярное горизонту, лишь промежуточным звеном... О, вы не знаете, что такое третья точка опоры... Язык, наука, искусство — все потеряет свою ценность. Возникнут такие связи, такие формы познания и такие способы наслаждения, о которых предположить невозможно...

— А двуногий Пушкин? — печально глядя перед собой спросил профессор.

Автор проекта захотел.

— Пушкин явление того же порядка, что и неестественно короткая жизнь, происходящая от биологически ложного пути. Ваши идеалы надуманы — Пушкин. Наши идеалы — это сокровенная мечта каждого живого организма — тысячелетняя жизнь... В корыстных целях вы скрыли от непримателевых организмов их биологические возможности... Ваша двуногая цивилизация разбухает и совершенствуется за счет законных прав каждого неприматального организма жить тысячу лет...

Автор проекта говорил, запрокинув голову назад и подняв глаза к небу, грудь его дышала часто, мучительно, как при родах, освобождаясь от сокровенных великих тайн внутри ее созревших и томившихся. И профессор понял, что таковы были древние бесноватые проповедники, за которыми шли толпы больных и голодных.

— Послушайте, мальчик, — сказал профессор, — с соблазнительными идеями надо обращаться осторожнее, чем с бактериями чумы. Среди нас, двуногих, расположенных перпендикулярно горизонту, много доверчивых... Мы, двуногие, много страдали и очень хотим счастья, хотим долгой жизни...

— Вот и отлично, — вскричал автор проекта, — да, я уже думал... Я перестану обивать пороги ваших нелепых учреждений. Я уеду в провинцию... Контрэволюция долгий и тяжелый путь... Я умру, но у меня будут последователи... Мы будем обращаться не к классовому сознанию, не к расовым предрассудкам, а к биологической сути... Наши сложные расчеты должны оканчиваться простым и доступным лозунгом: повернуть и расположить внутренние органы тела под таким углом к горизонту, чтобы исчезла куцая жизнь... Наш лозунг — да здравствует долгая тысячелетняя жизнь организма!

— Теперь я хотел бы посмотреть расчеты, — сухо сказал профессор, — я хотел бы их взять домой...

— Нет, — сказал автор проекта, — домой я вам не дам. Во-первых, я в вас разочаровался, а во-вторых, это последний экземпляр... Черновики мои погибли... Неважно при каких обстоятельствах... Я работал над этими расчетами семь лет...

Профессор глянул на изможденное, очевидно, от бессонницы и систематического недоедания лицо автора проекта.

— Вы плохо питаетесь, — сказал профессор.

— Это к делу не относится, — сказал автор проекта,

Профессор взял несколько пухлых тетрадей, заполненных расчетами, и свернутые в трубку листы ватмана, на которых расчеты подтверждались графическим построением. Вначале все показалось ему не очень серьезным, но постепенно он увлекся. Были, конечно, ошибочные, путаные места, но целый ряд расчетов оказался выполненным действительно интересно.

— Вы обещаете нам долгую тысячелетнюю жизнь и подтверждаете это биокибернетическими расчетами, — сказал профессор, окончив чтение. — Что ж, соблазнительно. Тысячелетняя жизнь — не тридцать сребреников. Найдется немало таких, кто откажется от своего двуногого существования... В вашем проекте опасна не его практическая сторона, которая равна нулю, а его идея... У нас, двуногих, на сей счет существует долгий трагический опыт... Особенно, если идея излагается полемически, ибо полемика — область, которая легче всего оказывает влияние на незрелые умы...

Между тем давно уже стемнело и был даже не вечер, а глубокая ночь, наступление которой собеседники не заметили. Профессор вспомнил, что несколько ранее мимо них мелькали какие-то люди, очевидно, прохожие и отдыхающие в скверике, которые поглядывали то с усмешкой, то с удивлением, ныне же все было тихо и пусто, ночь была светлая, как всегда в больших городах, к тому ж лунная, теплая и сильно, до головокружения пахло сиренью. Именно этот запах особенно взволновал профессора, обострил до предела его ощущения, и профессор понял, что проект надо немедленно уничтожить. Ни слова не говоря он встал и, прижимая к себе бумаги, но держа голову несколько отклоненной в сторону, словно неся пойманную ядовитую змею, торопливо пошел из сквера. Автор проекта, вероятно, догадался о намерении профессора, потому что он тут же кинулся вслед ему и вцепился худыми костлявыми ладошками в пиджак профессора, пытаясь защитить свое любимое дитя. Профессор был стар, но он пи-

тался добroкачественными диетическими продуктами; автор же проекта был молод, но истощен, так как много лет, ведя жизнь тунеядца, он, естественно, не получал от общества полноценных материальных благ, а перебивался случайными переводами технических статей, жиденькие суммы от которых он скучо тратил на картошку, постное масло, хлеб и изредка на сахар и чай. К тому же автор проекта был нервно истощен многолетней дневной иочной работой.

Именно благодаря вышесказанному профессору удалось причинить автору проекта боль и швырнуть его на землю. Воспользовавшись передышкой, профессор трясущимися руками достал спичечный коробок и поджег бумаги на песчаной аллее сквера. Бумаги корчились в огне, как живые, а профессор стоял по-матросски широко расставив ноги, без шляпы в распахнутом пиджаке и всякий раз перехватывал и отбрасывал автора проекта, отчаянно рвущегося к своим казнимым умирающим трудам.

— Конец, — злорадно крикнул профессор, — и в ведомстве вы тоже не получите свой экземпляр... Его постигнет та же участь...

— Я знаю, — сразу обессилев, сказал автор сожженного проекта, глядя, как профессор перемешивает ногами пепел с песком, — сила пока на вашей стороне... Я допустил ошибку, что согласился встретиться с вами... Либеральный влиятельный невежда — вот на кого всегда опиралась смелая научная мысль... А вы, профессор, порядочная сволочь... Но не надейтесь... Я восстановлю все по памяти за год... В крайнем случае — за два... Если спать по четыре часа в сутки, мало двигаться, экономить энергию... Я продам кожаное отцовское пальто... Впрочем, зачем это я вам говорю... Будьте вы прокляты... Двуногая тварь... Что мог ощущать ваш Пушкин или ваш Эйнштейн, если сердца их, кровеносные сосуды и полушария мозга располагались перпендикулярно горизонту... Да одна простая тысячелетняя жизнь мудрей и глубже всех ваших гениев вместе взятых... И это ведь так легко, — сказал он с тоской, — расположить сердце, кровеносные сосуды и мозг под специально рассчитанным углом к магнитному полю Земли... Но вы сожгли мой

проект, — закончил автор тихо, и слезы заблестели у него на глазах.

— Послушайте, — помолчав сказал профессор и начал испытывать странное почесывание около сердца, которое по научной терминологии называется пацифизм. — Послушайте... Я устрою вас на работу... Вы ведь способный человек... Вам надо хорошо питаться... Вам надо купить себе пальто, купить себе несколько модных костюмов... Вам надо полюбить девушку...

Автор молча повернулся, пошел из сквера, и по его сутулой спине чувствовалось, что он готов на любые жертвы и страдания во имя уничтожения человечества. Профессор пошел следом, пытаясь окликнуть собеседника и продолжить разговор, но он все более отставал и терял гонимого лжепророка из виду. Так прошли они площадь, пересекли переулок и вышли на ночной бульвар, где запахи сирени, настоеенные на влажной земле, приобрели силу алкоголя.

Профессор шел пошатываясь, прижимая локтем печень, широко раскрыв рот и вытирая платком влажный лоб. Вдали был дощатый павильон летнего кафе, и профессор знал, что за этим павильоном есть боковой выход из сквера. Профессор ускорил шаг и, нарушая правила, пошел наперерез, через газоны, чтобы первым оказаться у выхода, но лжепророк успел быстрее обогнать павильон с торца и, выйдя из сквера, уйти проходными дворами.

— Допустим, — крикнул тогда профессор, набрав в легкие побольше сладкого от сирени вязкого воздуха, — допустим, — крикнул он в надежде, что лжепророк еще недалеко и может его хотя бы услышать, — допустим, вы создадите вашу тысячелетнюю жизнь на трех ногах под расчетным биокибернетическим углом к горизонту... Но кому нужна она, если в ней не будет ни Пушкина, ни несовершенства, счастье же будет не переходящим, а вечным... Разве не равна она лежанию в могиле... Ваши идеи могут увлечь лишь голодных, больных и физически ущербных...

После сего профессор пошел назад по бульвару, все время радостно улыбаясь, ибо внезапно понял неценимое счастье

сегодняшней жизни, понял, что родился в эру, которую когда-нибудь назовут золотой...

Домой профессор вернулся в третьем часу ночи, без шляпы, без галстука и застал родных в страшном ажиотаже и волнении...

А через три дня он уехал по путевке месткома на Южный берег Крыма в лечебно-профилактический санаторий научных работников.

1969

АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ СТРАСТИ

Мини-повесть

Все началось радостью, а окончилось печалью. Вернее печаль явилась к известному археологу, директору института и профессору Олегу Олеговичу ...скому в обличии радости. Такое, к сожалению, неоднократно случается в жизни вообще и в археологии в частности. Вспомним общеизвестный случай, когда после длительных кропотливых поисков, под буквально казнящими лучами восточного солнца на берегу реки Тигр были вырыты из-под земли колосс-быки с крыльями и человеческими головами. Вспомним радость, охватившую тогда ученый мир. Все были уверены, что раскрыта наконец тайна древней столицы Ниневии. А оказалось, что все-го-навсего выкопан из земли очередной дворец царя Саргона П. ...

Поэтому, когда любимый ученик Олега Олеговича Кока (младший научный сотрудник Николай Николаевич Николаев) обнаружил на конечной остановке одного из троллейбусных маршрутов обломок таблички из обожженной глины с клинописным шумерским текстом трехтысячелетней дав-

ности, он хоть и взмок от волнения, но все-таки сумел сохранить хладнокровие и осмотрительность...

Дело было к вечеру, но в летнее время и потому солнце еще не успело скрыться за горизонтом. Было светло и нежарко. Кока, совсем еще молодой ученый, выглядевший к тому же гораздо моложе своих лет, ездил на дачу повидаться с некоей Леночкой. О ней мы больше упоминать не будем, она к произошедшей истории никакого отношения не имеет...

В приподнятом состоянии, побуждающем к постоянным двигательным движениям и свойственном скорее влюбленным школьникам, чем любящим младшим научным сотрудникам, Кока доехал сперва электричкой до некоего пункта, откуда пошел пешком через поле, сплошь покрытое загородными полевыми цветами — источником дохода для цепких и умелых старушек. И, взобравшись по косогору, Кока оказался на конечной остановке городского троллейбуса. Здесь, на обочине шоссе, он и обнаружил уникальную табличку с древней клинописью...

Взмокнув от волнения, но не растерявшись, как было уже сказано, Кока осторожно поднял табличку, огляделся и тотчас же обнаружил вторую, несколько поодаль, но уже в виде обломка. Еще дальше, естественно, лежала третья, целая и невредимая...

След вел вниз по косогору, на который Кока только что взобрался. Осторожно ступая, Кока вновь спустился в долину, покрытую полевыми цветами.

Местность была овражистая с глинистыми разломами и рытвинами. И в районе одного из таких разломов Кока обнаружил целую кучу глиняных табличек, очевидно освобожденных от захоронения грунтовыми водами. Вот тогда-то он по-настоящему похолодел. То, что ценнейшее захоронение подверглось расхищению невежественными личностями, не оставляло сомнений. Доказательство тому — уникальные древние таблички, валяющиеся на обочине шоссе. К тому же неподалеку вертелся и поглядывал на Коку какой-то мальчишка, явный лоботряс, из тех, кого хочется сечь, даже в условиях отмены телесных наказаний. Возникла творческая

диллемма. С одной стороны надо было немедленно, на крыльях лететь к шефу и учителю Олегу Олеговичу, с другой же стороны, как оставить свой пост? Впрочем, решение созрело мгновенно.

— Эй, послушай, мальчик, — дипломатично сказал Кока, — ты, надеюсь, пионер?

— Я второгодник, — разочаровал лоботряс.

— А зовут тебя как? — вел свое Кока.

— Колян.

— Значит, мы с тобой тезки, — подстраиваясь под партнера голосом лучшей в свое время исполнительницы детских ролей Сперантовой произнес Кока, — вот что, Колян, возьми рубль и стой здесь, не позволяй никому трогать эти плиточки... Я скоро вернусь, и ты получишь еще рубль... Нет, два ... Или даже пять...

— Дайте сейчас два рубля...

— Вот тебе три... Но смотри мне...

— Будьте спокойны, — сказал Колян. — Покараулю...

Кока собрал трясущимися руками (здесь он несколько совладал с собой) все, какие способен был унести, таблички, увязал их в снятый с себя пиджак и на крыльях, то бишь на такси помчался к Олегу Олеговичу. Рабочий день давно кончился, но Кока не сомневался, что Олег Олегович еще в институте...

Кока проследовал мимо секретарши Гертруды Исаковны, которую за долгие годы службы по архитектурному ведомству трудно было ее удивить, тем не менее вызвав недоумение. Он был бледен, испачкан глиной, а на руках, подобно младенцу, бережно нес нечто, увязанное в свой грязный пиджак. Он проследовал мимо секретарши Гертруды Исаковны, которую обожал, но с которой на этот раз даже не поздоровался и в таком состоянии вошел в кабинет профессора, ибо все резервы самообладания он исчерпал в районе обнаруженного им на конечной остановке троллейбуса древнего захоронения.

Профессор Олег Олегович ...ский, сидя в удобной позе, подперев щеку ладонью и улыбаясь, был погружен в люби-

мое свое занятие — чтение санскритской грамматики давно вымершего языка Индии.

— Как вы кстати, — воскликнул профессор, увидев своего любимого ученика, — обратите внимание... Авестийский язык, который ошеломил филологов своей связью с санскритом...

В этот момент молча приблизившийся Кока бережно уложил на полированный стол профессора перепачканный глиной узел — свой мятый пиджак, в который была увязана находка. Одна из табличек с тихим звоном, какой издает обожженная глина, скользнула на стол профессора.

— Да ведь это шумерская клинопись, — высоким митинговым голосом крикнул профессор. — Три тысячи лет до нашей эры ...

Далее любимый учитель и любимый ученик некоторое время разговаривали междометиями и обломками фраз.

— Где?

— Там.

— Когда?

— Сейчас.

— Как?

— Не помню...

И так далее и тому подобное. Тем не менее Коке удалось достаточно ясно и убедительно изложить суть дела.

— Гертруда Исаковна, — произнес Олег Олегович, — Павла Васильевича.

Явился завхоз Павел Васильевич. Несмотря на то, что рабочий день давно кончился, многие технические работники, хорошо знавшие и любившие профессора, по своей воле и без всякого принуждения оставались в институте, ожидая указаний.

— Надо немедленно отправиться на конечный пункт троллейбусного маршрута №... и установить охрану возле древнего захоронения, — сказал Олег Олегович, — вызвать дежурную машину... И так далее и тому подобное.

Все закружилось, загудело, запульсировало. На следующий день любимый учитель и любимый ученик явились чуть свет, оба с красными глазами и безусловно после бессонной ночи.

— Пусть не смущает нас случайность находки, — горячо говорил профессор. — Ведь именно волей случая первые клинописные таблицы, еще в ХУІ веке попали в руки ученых...

Подумать только, шумерская клинопись в районе среднерусской возвышенности... Ведь это научный катаклизм...

Обратите внимание на знаки, напоминающие следы ног ворон.

В это время открылась дверь и вошел завхоз Павел Васильевич, ведя за плечо тезку Коки Коляна.

— Я извиняюсь, — сказал Павел Васильевич, — но во-первых, этот оголец требует обещанные ему пять рублей, а во-вторых, он заявляет, что умеет читать буквы на табличках.

Профессор засмеялся тем протяжным смехом, каким каждому из нас доводилось смеяться, но, конечно же, не наяву, а во сне, когда видишь нечто совсем уже юмористическое, например, подштанники, которые самостоятельно, без их владельца, прыгают с кочки на кочку по болотистой местности.

— Возьми пять рублей, мальчик, и уходи, не мешай, — сказал профессор.

— Пожалуйста, — сказал Колян, но чтоб сохранить достоинство, вынул из-за пазухи табличку и начал шевелить губами.

— Вы... Ры ... Бы ... Вр... Вра...

— Что такое? — крикнули дуэтом любимый учитель и любимый ученик, — Павел Васильевич, как это понимать... Каким образом продолжается расхищение уникальных ценностей?

— Не могу знать! — заморгал глазами добрейший Павел Васильевич. — Лично посты проверял... Семеныч дежурит, мужик исполнительный...

— Да это не оттуда, — сказал Колян. — Это я за железной дорогой нашел... Червей для рыбалки копал и нашел... Таких плиток там в земле навалом, — и он снова зашевелил губами. — Мы ... О... Лы... Мол... О ...

— Позволь, позволь, мальчик, — уже в совсем ином регистре произнес профессор. — Позволь, позволь, мальчик... Ну-ка, иди сюда... Ну-ка, дай табличку, ну-ка, произнеси...

— Мы... — начал Колян, - Фы...

— Какое же это Фы, если это О, — взвизгнул профессор.

Пелена разом спала с глаз его. Кто хоть раз в жизни был ослеплен идеей, желанной идеей — тот поверит.

— Убирайся отсюда, мальчик, не мешай, — пробовал было удержаться на краю пропасти Кока.

Да, молодость, у которой, казалось бы, все впереди, гораздо сильнее цепляется за соблазны и заблуждения. Но профессор прозрел, хоть, признаться, ослепление прошло еще не окончательно, и он способен был различать лишь отдельные элементы бывшей клинописи.

— Читай, мальчик, — сказал он уже с тихой печалью. — Читай все до конца... Получишь еще ... Получишь на мороженое

— Гы... Мы... Жы ... Эту букву не знаю ... Опять Жы... Эту букву опять не знаю...

— Гертруда Исаковна, — тихо произнес профессор, — принесите, пожалуйста, словарь.

— Шумерский или Ассирио-Вавилонский? — спросила Гертруда Исаковна.

— Нет, для начальных классов средней школы.

— То есть, — дернувшись, произнесла Гертруда Исаковна.

— Да, да ... букварь, — сказал профессор.

— Но я боюсь, что в нашей библиотеке этого материала нет, — сказала Гертруда Исаковна, с тревогой глядя на профессора и стараясь ему не перечить.

— Тогда обратитесь в библиотеку Академии наук, — тихо сказал профессор..

— Хорошо, — сказала Гертруда Исаковна. — Я постараюсь достать требуемую вами литературу у дочери моей племянницы, — и она вышла, дергая шеей, чего с ней не случалось с 1947 года, когда ей изменил муж, кстати говоря, балетмейстер, с которым она немедленно тогда же развелась.

Короче говоря, все было найдено, все было освоено, ослепление прошло окончательно не только у Олега Олеговича, но даже у пристрастного по молодости Коки и вскоре они оба, уже без помощи второгодника Коляна и без помощи бук-

варя читали тексты табличек, правда, в отрывках, ибо систематизировать прочитанное, несмотря на весь свой опыт чтения санскритских и ассирио-авилонских текстов, обоим ученым так и не удалось. Скорее всего в этих из обожженной глины табличках речь шла о взаимоотношениях поколений, о проблеме отцов и детей. Так на табличке условно обозначенной 8а дробь 11 значилось: "Дилехтур, дай мне сказать... Люди послухайте про жизнь мою... Кто мне жизнь дал не знаю... Ни матку, ни папку не знаю ... Батрацкая жизня чижолая... А теперича жизня другая... Ей-ей социализма идет ..." На табличке 7с дробь 33 значилось: "Гляжу я на вас, дорогие мои, и мне чудится сказка, ставшая былью". На табличке 58к дробь 40 – "Молоко матери, воздух и солнце взрастили меня".

Соединив воедино эти, далеко отстоявшие друг от друга таблички, ученые получили картину некоего подобия митинга или собрания, на котором выступают как представители крестьянства, так и представители интеллигенции. Но с другой стороны, например, табличка 12а дробь 4 вносила уже в систему смятение, ибо в ней излагалось некое обличение, причем не в виде пафоса прямого ораторствования, а в форме повествовательной. – "Врачи рассказывали о порядках в некоторых столовых. Лучшие куски мяса, оказывается, попадают не в те желудки, в чьи предназначаются государством." Кропотливый труд ученых был внезапно прерван телефонным звонком.

– На каком основании, – с места в карьер начал некто, – вы извлекаете из земли экземпляры моей повести ... Если я не признан сегодня, то это еще не значит, что вы имеете право рвать мою археологическую связь с потомками... Фамилия моя Филаретов... Я прямо и откровенно ... Я не аноним и не псевдоним...

Все сразу стало ясно, как божий день.

– Негодяй! - закричал профессор, как мы увидим ниже, несколько опрометчиво, – какое право вы имеете засорять культурный слой нашей эпохи... Мы вас к ответственности привлечем...

– Сам хамло, – ответил Филаретов. – Вы имеете право не

признавать во мне таланта, но у вас нет права запретить мне зарывать свой талант в землю, — и он повесил трубку...

Профессора трясло минут двадцать пять. После этого он несколько успокоился и вызвал юрисконсульт.

— Данил Данилыч, — сказал он. — Мы хотим передать дело в суд на некоего негодяя, который зарывает в землю свои бездарные, свои до подлости бездарные сочинения.

— А что он их похищает? — спросил Данил Данилович.

— Какой там похищает, — разгорячился профессор. — Он их изготавливает собственноручно.

— Ну, в таком случае, — улыбнулся юрисконсульт и пожал плечами, — я не вижу состава преступления.

— Не видите состава преступления? — чуть не задохнулся профессор. — Да поймите же вы... Пройдут столетия, пройдут тысячелетия... Возможны природные катаклизмы... Все талантливое и даже гениальное ведь написано на легковоспламеняющемся и вообще легкоподдающемуся механическому воздействию материале, а этот пишет на обожженных глиняных табличках, часть которых дошла к нам через четыре тысячи лет...

Юрисконсульт посидел из вежливости несколько минут молча, а потом сказал:

— Я могу идти?

— Идите! — раздраженно махнул рукой профессор.

Интуицией ученого он уже почувствовал, что дело проиграно, но еще пытался бороться. Он вызвал завхоза Павла Васильевича и велел ему под его, профессора Олега Олеговича ...ского, личную ответственность выкапывать из земли гнусные таблицы и безжалостно разбивать их на мелкие части, для чего использовать весь наличный техперсонал. В это время раздалось подряд два телефонных звонка, фактически отменивших только что отданное профессором распоряжение. Сначала знакомый уже голос Филаретова, ликующий оттого, что предугадал на расстоянии ход профессора, коротко произнес:

— У меня промежду прочим свояк на кирпичном заводе работает.

— Позвольте, — торопливо крикнул профессор, — как ваша фамилия... Филаретов... Давайте поговорим, — но в трубке лишь таинственно щелкнуло. И тут же позвонил преданный Кока и, как бы подтверждая мысль о полном обеспечении негодяя керамическими канцтоварами, сообщил, что на сто пятидесятом километре в труднодоступных болотах обнаружено захоронение нескольких сотен керамических табличек с клинописью повести Филаретова.

— Все, — устало сказал профессор, — может быть и есть возможность ему помешать, но для этого требуются долгие юридические мытарства. Филаретов же за это время буквально нашпигует собой культурный слой нашей эпохи, он оклеветает нас и нашу культуру перед потомками. Раз нет возможности ему помешать, тогда хоть пусть он закапывает в землю свои труды под нашим контролем. Да, да, друзья мои, как это ни печально, с Филаретовым придется вступить в деловой контакт.

Призвав к компромиссу (это, кстати, происходило уже несколько позднее и на ученом совете), профессор зашатался и тяжело опустился в кресло. Видно столь смелое аналитическое решение далось ему нелегко.

Но вступить в деловой контакт с Филаретовым оказалось не так-то просто. Он развернул против археологического института самую настоящую партизанскую войну. Сотрудники института буквально с ног сбились, ведя поиск с использованием новейших средств археологической науки. Было обнаружено несколько свежих захоронений керамической повести в районе водохранилища, у окружной автотрассы и даже в центре города, это правда случайно, благодаря бульдозерным работам под котлован многоэтажной гостиницы. Однако люди, которые трудились под руководством Олега Олеговича ...ского, были до крайности, до самозабвения увлечены археологией. И все-таки им удалось вскоре выследить и схватить Филаретова в лесистой местности, в самой, можно сказать, чаще. И наконец Кока и завхоз Павел Васильевич, оба в охотничьих сапогах и телогрейках, тяжело устало ступая, ввели в кабинет Олега Олеговича Филаретова, человека в расцве-

те лет и сил, также сообразно обстановке одетого по-походному. На этот раз Филаретов явно не успел отдать путем закрытия в землю свой талант потомкам. В левой руке он держал лопату-заступ, в правой — мешок с повестью.

— На каком основании, — сразу же строго и требовательно начал Филаретов, — меня задерживают с применением насилия... Кто вы такие... Задерживать имеет право милиция по предъявлению документа... Вы думаете, я конституции не знаю...

— Садитесь, Филаретов, — совершая над собой неимоверное усилие и стараясь быть предельно учтивым, сказал профессор, — никто вас не задерживал... Просто мы пригласили вас для беседы. У нас к вам предложение. Мы хотим включиться в вашу работу, принять в ней участие.

— Это другое дело, — сказал Филаретов. — Я сам всю жизнь стремился в коллектив, но меня не признавали всякого рода литературные волкодавы.

— Мы ознакомились с вашей повестью, Филаретов, — сказал профессор. — На наш взгляд, она нуждается в существенной литературной доработке...

— А разве я против? — широко открыто улыбнулся Филаретов (в этот момент он показал себя покладистым малым, вернее, так тогда почудилось профессору), — разве я против, — продолжал Филаретов, — доработать можно, но при том утите важность тематики... Чем-чем, а тематикой я не собираюсь жертвовать. Вот, например, — он порылся в мешке и вытащил наугад керамическую табличку, — вот, например, размышления об идеале женщины, размышления главного героя моей повести... Мой идеал! Пусть у нее будет единственная пара чулок, но аккуратно заштопанных, чистых... Пусть она не страшится самой черной работы, честной, конечно... Я готов слиться с этой женщиной и не сочту жертвой со своей стороны, если потом она лишится рук, ног, ослепнет... Или вот, — Филаретов опять порылся в мешке. — Вот мой герой уже в совершенно иной, не личной, а общественной обстановке. Некие чиновники пытаются его перевести на другое предприятие, чтоб избавиться от его принципиальности, и

он прямо им в лицо публично заявляет: "Руководство превращается в опеку, если оно влечет за собой торможение инициативы народных глыб!" Или вот... — войдя в раж, Филаретов снова потянулся к мешку с повестью.

— Стойте, — голосом полным страдания крикнул профессор. — Подождите, Филаретов... Павел Васильевич, проводите товарища в комнату отдыха... Нам здесь надо посоветоваться.

Профессор принял валидол и вызвал главбуха.

— Нил Борисович, — осторожно массируя левую часть груди, сказал профессор, — мы имеем возможность взять литконсультанта?

— Олег Олегович, — сказал главбух, — у меня есть уже два выговора за нарушение финансовой дисциплины.

— Я дам вам письменное распоряжение, — сказал профессор. — Я беру ответственность на себя.

— Разве что по безналичному расчету, — глядя на бледное лицо профессора, сказал главбух.

— Гертруда Исаковна, — сказал профессор. — Свяжитесь, пожалуйста, с Союзом писателей.

В Союзе писателей некто сухо ответил по телефону, что для организации литкружка на предприятии необходимо подать заявление. Заявления принимаются по вторникам и четвергам. Профессор нехорошо выругался и хоть сделал это на санскрите, на исчезнувшем языке древней Индии, Гертруда Исаковна слегка порозовела от смущения. Однако делать было нечего и через полчаса Кока привез на дежурном автомобиле частного литконсультанта. Выбор оказался неудачным. Вместо того чтобы придать повести хотя бы элементарно грамотный вид в пределах букваря, литконсультант вступил с Филаретовым в бесконечные литературные препирательства. А между тем Филаретов и без того становился все более капризен и требователен, впечатление о нем как о рубахе-парне оказалось временным и обманчивым. Во-первых, он потребовал с археологического института за совместное захоронение его, Филаретова, повести в землю непомерно высокий гонорар — сорок печатных листов по триста рублей за лист. От такой суммы в рублях у профессора помутилось сознание, и

он увидел перед собой в воздухе таинственные знаки, отдаленно напоминающие рисуночную письменность хеттов... Во вторых, Филаретову не понравилась его резиденция в комнате отдыха и его пришлось перевести в зал заседаний ученого совета, где завхоз Павел Васильевич вынужден был играть с капризным автором ради его удовольствия в "козла" на длинном полированном столе, предназначенном для научных заседаний. И в этих-то условиях частный литконсультант затеял с Филаретовым литературную полемику.

— Вот здесь у вас высечено, — кричал литконсультант, — "У входа висел аншлаг, на нем значилось: "Добро пожаловать". — Как это аншлаг может висеть? Что такое аншлаг вы знаете? Или здесь у вас высечено: "Забрезжил дождь... Забрезжить может рассвет, а дождь брызгает..." Или вот. "На подоконнике лежали головные уборы обоего пола"...

— Что такое? — в свою очередь багровел Филаретов. — Я в таких условиях отказываюсь работать... Совершенно не учитывается важность тематики...

— Подождите, Филаретов, — держась за виски и все еще видя перед собой в воздухе наскальную хеттскую письменность, говорил профессор. — Сядьте... Товарищ литконсультант, вас я прошу подождать в комнате отдыха... Павел Васильевич, проводите... Вот что, Филаретов... У нас следующее предложение... Поскольку все это укладывается в землю на столетия, а может быть, и на тысячи лет...

— Само собой, — самодовольно улыбнулся Филаретов.

— Давайте все-таки откажемся от литконсультанта, тем более подобранныго неудачно...

— Крайне неудачно, — согласился Филаретов.

— И давайте всю вашу повесть просто-напросто переведем с русского языка на язык древнешумерской клинописи... Наша археологическая практика показала, что древнешумерская клинопись лучше всего сохраняется на глиняных табличках...

Ход профессора был сделан и теперь в свою очередь схватился за виски и задумался Филаретов. Он думал более получаса, но все-такие разгадал хитрость профессора.

— Нет уж, дудки, сказал Филаретов, — кто знает, какие изменения произойдут в мире за будущее тысячелетие... Может, этот шумерский язык никто и не разберет... Пусть уж лучше по-русски останется, тем более тематика повести важнейшая...

— Хорошо, — сказал профессор. — Но в таком случае, у меня дополнительное условие. В каждое захоронение должен быть положен высеченный на несгораемом материале список лиц, которые, как бы это выразиться, в общем сочиняли лучше вас... Для объективности... Список этих лиц будет согласован дополнительно.

— Ладно, кое-кого можно, — капризно и ревниво сказал Филаретов. — Только кота за хвост нечего тянуть, давай, сейчас согласуем.

Как же сейчас, — теряя хладнокровие, раздраженно сказал профессор, — ведь это, как оно для вас ни печально, — тут профессор позволил себе полакомиться сарказмом, — это очень длинный список...

— А например? — сказал Филаретов.

— Ну, Пушкин, Лермонтов, Толстой, Чехов...

— Бунин, Горький, Шолохов, — подсказал со стороны Кока.

— Жюль Верн, — неожиданно вставил завхоз Павел Васильевич, который оказывается обожал фантастику.

— Нет, хватит, — решительно сказал Филаретов, — иностранцы тут не при чем... И Толстого тоже вычеркнем.

— То есть как? — совсем уже потерял хладнокровие профессор.

— А так, — жестко ответил Филаретов, — воспевает гнилую аристократию и проповедует разврат в одноименном романе "Анна Каренина"... А у меня об идеале женщины написано с прогрессивных позиций.

Но тут уж уперся профессор. Как выяснилось, Толстой, несмотря на проповедь непротивления злу, был его любимым автором. Далее дело покатилось как по маслу и вернулось к своей первоначальной форме. Все усилия пошли прахом.

— Мы вас к ответственности привлечем, — стандартно крикнул профессор, — за клевету потомкам на нашу культуру... За засорение нашего культурного слоя...

— А, выкуси, — ответил Филаретов. — Такой статьи нету... И вообще некогда мне с вами... Мне свояк новую партию канцпринадлежностей приготовил на кирпичном заводе... Пять тысяч штук... — и, отмахнувшись увесистым мешком с повестью от завхоза Павла Васильевича, Филаретов выскочил в окно.

После всего произошедшего профессор слег, у него началось головокружение, перебои сердца и уже не отдельные иероглифы, а целые фразы хеттской письменности висели перед ним в воздухе.

— Как же так, — отвечал он жене и друзьям, которые предлагали ему поесть или принять лекарство, — вот мы сейчас с вами едим, лечимся, беседуем, а он где-нибудь себя в землю закапывает... А известно ли вам, друзья мои, что великий культурный центр древности Хаттусас в XШ веке до нашей эры был полностью уничтожен пожаром... Погибли величайшие культурные ценности, потому что хетты в основном легкомысленно писали на деревянных табличках, но зато сохранились следы часто второстепенных и культурно отсталых племен, которые писали на огнестойких, глиняных табличках...

И временами профессор даже порывался сочинять докладную в вышестоящие инстанции, где требовал проведения каких-то реформ письменных принадлежностей и перенесения на таблички из огнеупорной глины произведений прошлого и настоящего, которые того достойны. Несколько раз жена заставала профессора за подобным занятием, отнимала у него перо, бумагу, а ему давала успокоительное. Профессор слабел и терял в весе, но однажды — такое случается только в библейских мифах — он был разом исцелен и приступил к исполнению своих служебных обязанностей. Вдруг, сочным августовским днем, ему позвонил по телефону сам Филаретов и сообщил, что рукопись повести включена в план Энского издательства... Он, Филаретов, ее с огнеупорных табличек перенес на бумагу в трех экземплярах, а захоронение в землю полностью прекратил, то же, что захоронил — извлек.

— Кто его знает, что оно через тысячу лет будет... Для меня

все-таки главное современность... И тематика подходящая... Так что включен в план...

Профессор смеялся десять минут... Кстати, несколько ранее приводился случай, когда профессора, так же после телефонного звонка, тряслось двадцать пять минут. Это, конечно, неприятно и все-таки прямой угрозы жизни здесь нет. В то же время, как ни странно, смех человек может выдержать подряд одиннадцать-двенадцать минут, не более. Потом возникает угроза для жизни. Так что профессор уже был на пределе.

— Но, позвольте, профессор, — сказал присутствующий при этом младший научный сотрудник Николай Николаевич Николаев (Кока), который хоть и обожал учителя, но более все-таки истину, — чему же вы радуетесь, профессор... Вы, который пытался спасти от духовной отравы наших далеких потомков, радуетесь, что это тухлое варево окажется на столе современников.

— А за это, Кока, любимая наша археология уже ответственности не несет, — проявляя местничество, ответил профессор, — пусть теперь поверятся литераторы-то... Мы за потомков несем ответственность, а современники пусть с них спрашивают...

И профессор опять захотел и смеялся еще десять минут, то есть в целом он провел в данном состоянии двадцать минут... Хоть это и не рекомендуется, с перерывом подобное все-таки допустимо... Но даже когда профессор перестал смеяться, на лице его еще долго сохранялась коварная улыбка отмщения, которая, предполагают, воцарилась на лице могучего древнеегипетского бога Сета после того, как он разорвал на части и бросил в реку Нил своего злейшего врага, повелителя мертвых, вечности и преисподни бога Усира...